



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
7

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
185

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
335

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
477

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
634

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





I

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны,

то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагоприятно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Владелец плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподшвенные башмаки с штиблетами, — всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частью от нечего делать, и наконец спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

– Зябко?

И повел плечами.

– Очень, – ответил сосед с чрезвычайной готовностью, – и, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

– Из-за границы, что ль?

– Да, из Швейцарии.

– Фью! Эх ведь вас!..

Черноволоксы присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «Что же, вылечили?» – белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

– Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, – язвительно заметил черномазый.

– Истинная правда! – ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорюзлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, – истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

– О, как вы в моем случае ошибаетесь, – подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом, – конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.

– Что ж, некому платить, что ли, было? – спросил черномазый.

– Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

– Куда же приехали-то?

– То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

– Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали.

— И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? — спросил черномазый.

— Об заклад готов биться, что так, — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, — и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

— Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал наконец смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), — и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облегающим иностранные башмаки ваши, но... если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница и вы не ошибаетесь, по рассеянности... что очень и очень свойственно человеку, ну хоть... от излишка воображения.

— О, вы угадали опять, — подхватил белокурый молодой человек, — ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.

— Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм... по крайней мере простодушны и искренны, а сие похвально! Гм... генерала же Епанчина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный, и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с...

— Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, — и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.

Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся бес-

покойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «всё знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д., и т. д., и всё в этом роде. Большею частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.

— А позвольте, с кем имею честь... — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.

— Князь Лев Николаевич Мышкин, — отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

— Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, — отвечал в раздумье чиновник, — то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина «Истории» найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.

— О, еще бы! — тотчас же ответил князь, — князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде...

— Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, — захихикал чиновник.

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать, довольно, впрочем, плохой, каламбур.

— А представьте, я совсем не думая сказал, — пояснил он наконец в удивлении.

— Да уж понятно-с, понятно-с, — весело поддакнул чиновник.

— А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? — спросил вдруг черномазый.

— Да... учился...

— А я вот ничему никогда не обучался.

— Да ведь и я так, кой-чему только, — прибавил князь, чуть не в извинение. — Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

— Рогожиных знаете? — быстро спросил черномазый.

— Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

— Да, я, Рогожин, Парфен.

— Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных... — начал было с усиленною важностью чиновник.

— Да, тех, тех самых, — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.

— Да... как же это? — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное, — это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капитала оставил?

— А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капитала оставил? — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. — Ишь ведь! (мигнул он на него князю) и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат, подлец, ни мать ни денег, ни уведомления — ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал.

— А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о Господи! — всплеснул руками чиновник.

— Ну чего ему, скажите, пожалуйста! — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

— И буду, и буду ходить.

— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!

— Тыфу тебя! — сплюнул черномазый. — Пять недель назад я вот, как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя во Псков ушел, к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помер. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.

— Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственнo в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственнo; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.

— Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, — отвечал Рогожин, — но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и всё с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испужалась да, не распечатывая, в часть и представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, всё отписал. С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: «Они, дескать, эво-